



‘СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ’ А. С. ПУШКИНА:  
СЮЖЕТ О ДОБЫВАНИИ БЕДЫ  
(‘THE TALE OF THE GOLDEN COCKEREL’ BY A.S. PUSHKIN:  
A PLOT ABOUT OBTAINING DISASTER)

О. Б. ЗАСЛАВСКИЙ  
(O. B. ZASLAVSKII)

**Abstract**

We suggest an integral interpretation of Pushkin’s ‘The Tale of the Golden Cockerel’. We argue that the Shamakhan Queen is nothing else than the disaster mentioned in the “guarantee” of the golden cockerel’s work presented by the eunuch. The tsar turns out to be an unintentional seeker of Disaster, which the eunuch actually sends to obtain. Motifs of the magic disaster overlap with those of a human one, the source of a human disaster being a weak tsar behaving himself in a monstrous way. In Pushkin’s work common fairytale elements are replaced by their negative counterparts and the “lack” becomes the constructive principle on its own. In this respect, the theme of castration, the explicit bearer of which is the eunuch, is embodied on the structural level.

Keywords: *Pushkin; Tale of the Golden Cockerel; Fairytales*

*Постановка задачи*

‘Сказка о золотом петушке’ – одно из самых загадочных произведений Пушкина. Несмотря на ряд ценных наблюдений, связанных с отдель-

ными аспектами произведения, его целостная непротиворечивая интерпретация, насколько нам известно, отсутствует. Более того, относительно недавно появилась работа Е. Погосян, в которой такая возможность вообще поставлена под сомнение, а единственно адекватным объектом изучения объявлены интертекстуальные связи (Погосян 1992). Еще более радикальные выводы сделаны в работе В. Паперного (1997), где вполне справедливое отрицание попыток найти “твердое содержание” постороннего по отношению к тексту характера (морального, политического и т. п.) фактически переходит в отрицание смысловой структуры текста как таковой. Такая (довольно странная, на наш взгляд) позиция предполагает либо отсутствие связного смысла в самом произведении Пушкина, либо заведомую капитуляцию исследователя по отношению к попытке его понять. В работе В. Непомнящего (1987) содержится ряд интересных наблюдений, однако прямолинейно-дидактическая установка подменяет собой анализ произведения и порой доходит до прямых фантазий.<sup>1</sup> М. Безродный (1992) просто и убедительно выявил целый слой ‘Сказки’, связанный с символикой и образностью гениталий, однако сюжет как единое целое им не рассматривался.

Отсутствие целостной интерпретации произведения связано, на наш взгляд, прежде всего с двумя факторами. С одной стороны, как правильно отметил А. Эткин (1996), исследователи с поразительным постоянством обходили вниманием фигуру скопца. (Однако обсуждаемые Эткиным сведения из истории скопческого движения в России не имеют никакого отношения к ‘Сказке’ как художественному тексту, а выводимая из них напрямую интерпретация является, по нашему мнению, грубым навязыванием предвзятых представлений.)<sup>2</sup> С другой стороны, не были достаточно адекватным образом учтены характерные для волшебной сказки законы жанра. Об этом писал В. Вацуро (1995), проследивший, как в пушкинской сказке преломился ряд фольклорных мотивов (в частности, нарушенное слово и обманный договор). Вацуро (1995: 133) заключает свою работу важным выводом: “В ‘Сказке о золотом петушке’ деформированы не только отдельные мотивы, но и сказка в целом”. Однако если указанные отдельные мотивы им прослежены в пушкинской сказке весьма подробно, то вопрос о природе деформации сказки как целого остался открытым. Недавно появилась еще одна работа, в которой сделана попытка хотя бы отчасти заполнить пробел, связанный с ролью сказочного жанра. Г. Левинтон (2000) справедливо напомнил о необходимости “не забывать, что мы имеем дело со сказкой, и ориентироваться на реальный репертуар сказочных мотивов”. Однако если Вацуро подчеркивал, что у Пушкина “сохранены общие принципы построения мира сказки, в который внесено внефольклорное, индивидуальное пушкинское начало”, то Левинтон фактически не провел никакого различия между сказками пушкинской и фольклорной. При этом

он не только, как и большинство предыдущих исследователей, проигнорировал тот факт, что одним из персонажей является скопец, но вообще отмахнулся от этого обстоятельства, бегло упомянув о “пресловутом скопчестве”. К обычной фольклорной сказке фигура скопца действительно отношения не имеет; однако следует не забывать не только о “репертуаре сказочных мотивов”, но и о том обстоятельстве, что пушкинская сказка является не фольклорным, а художественным произведением, из-за чего игнорирование прямо указанного в тексте свойства одного из главных персонажей чревато смысловыми потерями. Более того, как мы увидим ниже, отмеченное Левинтоном обстоятельство, что сюжет пушкинского произведения “не вполне укладывается в схемы волшебной сказки”, имеет к этому прямое отношение. Таким образом, в обеих работах (Вацура и Левинтона) было отмечено, что классические сказочные закономерности претерпели в пушкинском произведении видоизменение, однако его природа осталась там не выявленной.

В настоящей работе мы предлагаем общее объяснение деформации сказочного сюжета в ‘Сказке о золотом петушке’. Оно опирается на целостную интерпретацию произведения, которая существенным образом учитывает *оба* фактора – структуру волшебной сказки (с учетом ее потенциально возможной деформации в сказке литературной) и скопчество “волшебного помощника” (из чего попутно становится ясно, почему их изолированное рассмотрение было непродуктивным). Между ними в пушкинском произведении выявляется весьма нетривиальная взаимосвязь: как будет показано далее, сюжет в определенном смысле оказывается “кастрационной” деформацией обычного сказочного сюжета – в том смысле, что ряд элементов нормального сюжета оказывается заменен их отрицательными (обращенными) вариантами, связанными с отсутствием или нехваткой обычных свойств, а в сюжете как целом нехватка как таковая вообще стала конструктивным принципом.<sup>3</sup>

### *Этический парадокс*

Реакция Дадона на просьбу скопца приводит к тому, что царя убивает золотой петушок (далее для краткости ЗП обозначает золотого петушка, ‘ЗП’ – название пушкинского произведения). Отсюда ряд исследователей делает “очевидный” вывод, что если бы Дадон повел себя иначе, то это привело бы сказку к счастливому концу: “И когда в самом конце пути ему предлагается спасение, он плюется и размахивает своим жезлом” (Непомнящий 1987: 242), “только неадекватное поведение Дадона [...] предотвращает нормальный (‘счастливый’) конец сказки” (Левинтон 2000). Однако стоит предположить, что Дадон действительно поступил “адекватно”, как немедленно возникает парадокс. Представим

себе: Дадон действительно не убивает скопца и отдает ему девицу, и в соответствии со сказочными нормами наступает “счастливый конец” сказки. Тогда получилось бы, что не имеют значения предыдущие поступки Дадона, который влюбился в Шамаханскую царицу (далее для краткости ШЦ) при мертвых сыновьях, пировал с ШЦ в шатре рядом с местом побоища и вернулся, забыв как о них, так и двух погибших ратях – все это оказалось бы совместно с “нормальным” концом. Очевидно, что такое сочетание грубо противоречило бы основам этического мира Пушкина.

Единственный напрашивающийся отсюда вывод: согласие Дадона отдать девицу привело бы сказку отнюдь не к счастливому концу, а к чему-то прямо противоположному. В свою очередь, из этого получается любопытное следствие. Поскольку “счастливого” конца нет и в реализованном варианте, причем персонаж гибнет, то (чтобы исключить дублирование и совпадение результатов, к которым приводят разные варианты) предполагаемая беда должна была носить более общий характер, чем смерть Дадона.

На первый взгляд сделанные выводы кажутся неожиданными. Обратимся, однако, к тексту. Скопец дает такую “гарантию”: “Петушок мой золотой / Будет верный сторож твой”. Смысл этой “гарантии” состоит в том, что петушок должен охранять царство от *беды*. Более того, само слово “беда” названо в этой “гарантии”: “Иль другой беды незваной”. Вспомним теперь, кого же царь (а до этого – его сыновья) обнаружили в конце пути, в который их отправил ЗП. Это – ШЦ. Учет предшествующих событий, а также наличие самого слова “беда” в инструкции заставляют заключить, что *ШЦ и есть “беда”*.

Напомним, что погибли оба царевича, скопец, который запросил ее у Дадона, а в конечном счете и сам Дадон, который ввез ШЦ в город. Кроме того, на беду и смерть есть и прямые указания в тексте. Так, воевода будит Дадона возгласом “Государь! проснись! Беда!”, а сонный Дадон в ответ говорит: “А?.. Кто там?.. беда какая?”. В горах, устраивая картинный плач по сыновьям, Дадон восклицает: “Горе! смерть моя пришла” – и тут же появляется ШЦ. Походы за ШЦ совершаются в горы, и это вскоре приводит к беде – что может быть понято как обыгрывание поговорки “Беда не за горами”.<sup>4</sup> К этому прибавим, что крики ЗП, по которым в походы отправлялись два царевича, а потом и сам царь, а также соответствующие действия царя (“Кличет царь другую рать”), можно интерпретировать как реализацию поговорки “накликать беду”. Более того, в обратной перспективе свершившихся событий эта же поговорка применима и к исходному решению царя – позвать скопца “с просьбой о помощи”. Когда же сам скопец запросил ШЦ в качестве награды за услугу, то в результате получил удар по лбу – “Накликал беду на свою голову”.<sup>5</sup> Если вспомнить о лени и сонливости царя

(Дадон хотел “покой себе устроить”, ЗП кричит ему “Царствуй, лежа на боку!”; воеводу, пришедшего доложить о новых криках ЗП, Дадон встречает “зевая”, после отправки в поход старшего сына “царь забылся”), то это отсылает к “Спал, спал, да и выспал беду”, а поход ленивого Дадона за Бедой, окончившийся при въезде в город смертью, актуализует здесь поговорку “его хорошо за смертью посылать”.<sup>6</sup> Как отмечалось ранее В. Шмидом, многие сюжеты пушкинских прозаических произведений представляют собой развертывание словесных клише (Шмид 1996: 61-102), так что в указанном отношении реализация поговорок о беде полностью вписывается в эту пушкинскую традицию.

### *Беда, а не “опасная невеста”*

Связанное с ШЦ свойство опасности само по себе достаточно очевидно. Например, об этом свойстве упоминал еще в своем комментарии С. Бонди, полагавший, что “Пушкин написал шутивную сказку об опасности женских чар” (Пушкин 1975: 474). Вопрос, однако, состоит в том, как увязать это свойство со структурой сказки как целого. Левинтон в вышеупомянутой работе выдвинул версию “опасной невесты”, основанной на аналогии со сказками типа “благодарный мертвец”, где волшебный помощник обезвреживает такую невесту, после чего герой может благополучно взять ее в жены.

Согласно же нашему объяснению, ШЦ – это не характерная для фольклорной сказки “невеста” с устранимыми признаками беды, а наоборот – Беда, персонифицированная в облике “невесты”. Иначе говоря, субъект и предикат здесь следует поменять местами: ШЦ – это беда как таковая в качестве самостоятельного явления, так что “беду” следует понимать здесь как более общее и абстрактное понятие. Это означает, что “разрядить” и обезвредить такую беду невозможно в принципе; точнее говоря, стоит это сделать – и она просто исчезнет именно потому, что этой беды больше не будет. Как раз это и происходит в тексте, когда ШЦ “вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало” – такой финал как нельзя лучше подтверждает абстрактную природу ШЦ, свойственную Беде, но не имеет никакого отношения к “опасной невесте”. Тот факт, что Шамаханского царства как такового в произведении нет, как нет у ШЦ слуг, подданных, и т. д., также указывает на то, что статус ШЦ является более абстрактным, чем у обычных сказочных персонажей. В пользу общего характера Беды говорит также и то обстоятельство, что в списке опасностей, данных в гарантии, фигурирует именно “беда”, выделяясь своим неопределенно-общим характером (“Иль другой беды незваной”) на фоне бед конкретных (войны, набегов “силы бранной”).

Можно привести и другие обстоятельства, которые на наш взгляд плохо согласуются с версией “опасной невесты” или ей противоречат. В сказках, на которые ссылается Левинтон, обезвреживание невесты помощником происходит в ответ на услугу, которую герой оказал перед этим помощнику. У Пушкина же дело обстоит наоборот: предварительную услугу оказал не Дадон скопцу, а скопец – Дадону (вручив петушка для защиты царства). Прямая параллель со сказками об опасной невесте вовсе не учитывает странность для сказки самого действия – добывания невесты (даже независимо от того, “опасной” или нет) отцом двух взрослых сыновей, которые сами до этого добыть ее не смогли и погибли. Такие отклонения от “нормального” сказочного сюжета подрывают использованную в указанной работе логику обоснования, основанную как раз на аналогии с “нормальными” же фольклорными сказками.

И, подчеркнем это еще раз, тезис Левинтона, что “только неадекватное поведение Дадона [...] предотвращает нормальный (‘счастливый’) конец сказки”, где под “поведением” имеется в виду лишь реакция на просьбу скопца, противоречит этическому миру Пушкина. Кроме того, здесь также игнорируется и важнейшее проявление свойств мира, представляющего в произведении, т. е. фактор поэтики – монструозное сочетание несочетаемого (о чем мы будем говорить и далее), которое демонстрирует в этих деяниях Дадон.

#### *От обычного сказочного сюжета к кастрационному*

Как известно, типичной исходной точкой сказочного сюжета является ситуация вредительства или недостачи (Пропп 1969: 36-38). Первая часть сюжета ‘ЗП’ находится в соответствии с обычной сказочной схемой: в ответ на исходную беду (мучающие царя набеги врагов) он обращается к волшебному помощнику, который его от этой беды избавляет. Однако вторая (после усмирения соседей) часть оказывается весьма необычной. Поскольку царь, как это следует из изложенного выше, по сути дела отправляется за Бедой, такое понятие как “беда” из состояния нехватки или наличия отрицательных признаков превратилось в самостоятельную сущность и стало “искомым”. Это означает существенную деформацию и переворачивание обычных сказочных закономерностей. Об этом же говорят и другие обстоятельства. Обратим внимание, что события, которые привели к добыванию Беды (крики петушка и последовавшие за ними походы с известными последствиями), начали происходить в мирное время (“Год, другой, проходит мирно”), когда “соседи присмирели”, и царю и царству ничего не угрожало. С этой точки зрения, подчеркнута благополучное время исходной (по отноше-

нию к добыванию ШЦ) ситуации на языке сказочной композиции и с учетом перевернутой, парадоксальной логики сюжета можно определить как *недостачу беды*. Именно за ней и отправляются сначала сыновья царя, а затем и он сам. Царь из свойственного “нормальным” сказкам субъекта отправки за искомым превращается в объект отправки, которой “руководит” ЗП. Хозяин же ЗП, с которым тот метонимически связан, – скопец, т. е. персонаж, основным свойством которого как раз и является свойство *нехватки*. Привезя Беду, царь должен был отдать ее – тем самым сюжет ЗП оказывался двойным отрицанием нормального сказочного сюжета: сначала герой должен был добыть отрицательную сущность, а затем эту добычу у него должны были “вычесть”. И хотя этот вариант событий был сорван поступками Дадона, отказавшегося отдать ШЦ и убившего скопца, реально состоявшийся сюжет о Бедо также заканчивается как раз ее кастрационным вычеркиванием: “А царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало”.

Сказочный сюжет о добывании “нормального” искомого должен, как известно, содержать испытания, в которых герой доказывает, что обладает нужными качествами. Здесь же герой добывает Беду, что возможно лишь, если произойдет беда реальная, а для этого герой должен доказать отсутствие нормальных или наличие минус-качеств. Так, при первой встрече с “помощником” царь своей реакцией успешно проходит испытание на безответственность и слабость царской воли – иначе говоря, доказывает царскую несостоятельность. Сюда относятся согласие на “руководство” со стороны ЗП, которому дано на откуп, что следует считать бедой для царства (что в итоге обернулось гибелью сыновей царя и их ратей), плюс обещание *царя* исполнить в награду *чужую* волю как *свою*. В горах, при встрече с ШЦ, царь влюбляется в нее при мертвых сыновьях и забывает их: этим он доказывает свою несостоятельность в качестве *отца* и в результате успешно добывает “невесту”, которая является Бедой и представляет собой искомое для *скопца*.

Таким образом, характерные для “нормальной” волшебной сказки позитивные элементы заменены их отрицательными двойниками, а нехватка из свойства отсутствия чего-то сама стала конструктивным принципом, в соответствии с чем можно говорить о “кастрационном” варианте сказочной структуры и кастрационном сюжете (для краткости КС).

### *Волшебное средство и общая монструозность*

Задача, которую (сам того не подозревая) должен был решить Дадон – привезти Беду – требовала адекватного для ее исполнения волшебного

средства. В этой связи более подробно рассмотрим сцену вручения ЗП – в ней также обнаруживаются, как мы сейчас увидим, свойства, характерные для КС. С учетом эротических коннотаций образа петуха передача такого волшебного средства означает, согласно мнению, независимо высказанному в цитированных выше работах Безродным и Погосян, передачу мужской силы от скопца Дадону. Погосян (1992: 101) пишет: “перед нами персонаж, расставшийся уже со своей мужской силой и способный передать ее другому”. Безродный, развивая наблюдения Jakobsona (1987) о наличии метонимических отношений между ЗП и звездочетом, указал, что “речь, вероятно, может идти о такой разновидности метонимии, как синекдоха, то есть, собственно, о том, что петушок не просто полномочно представляет своего владельца, а выступает именно как *pars pro toto*”, а “процедура передачи петушка Дадону обретает смысл наделения дряхлого старца жизненной силой”; в результате “при помощи чудесного дара Дадон овладевает царицей, затмевая своих сыновей” (Безродный 1992: 24).

Эти важные наблюдения не учитывают, однако, ряда обстоятельств. Во-первых, указанный Погосян механизм не соответствует законам контагиозной магии, согласно которым передача нужных качеств от источника к получателю происходит при контакте путем “копирования”, которое не отбирает их у источника.<sup>8</sup> Во-вторых, поскольку петух сам по себе является носителем эротической мощи, то в том, что касается наделения мужской силой, вообще нет необходимости ссылаться на свойства волшебника. (Если же принять логику Погосян, неизбежно пришлось бы прийти к странному заключению, что только скопец может наделять других мужской силой.) То обстоятельство, что мужской силой наделяет героя *скопца*, не объясняет возможность такой передачи, но создает значимый контраст, который сам подлежит объяснению. В-третьих, из приведенного Безродным объяснения совершенно не ясно, почему же “дряхлый старец”, пусть и наделенный мужской силой, “затмевает” своих молодых сыновей – естественных носителей этой силы.

Обратим внимание на принципиальный момент: поскольку владельцем петушка является скопец (это слово, ключевое в данном месте, выпало у Безродного вместе с не сделанным здесь выводом), то представляемая фаллическим петушком *pars pro toto* является *кастрированной*. Поэтому, с учетом роли метонимии, следует предположить, что и сам ЗП должен оказаться *кастрированным* – только в этом случае он может представлять своего владельца “полномочно”. Каким же образом это могло быть реализовано? Присмотримся к процессу передачи внимательнее. Из генитальной символики, пронизывающей произведение (Безродный 1992) и в том числе связанной с петушком, следует, что отделение *фаллического* петушка от *мешка* нужно рассматривать как



*магическую кастрацию*. Но тогда с учетом общих свойств контагиозной магии следует заключить, что, вручив царю магически кастрированного петушка, маг-скопец снабдил его не просто мужской силой, а силой, уже кастрированной. Подчеркнем, что здесь таким образом произошла не передача обычной мужской силы, но и не кастрация силы, уже имевшейся, а наделение минус-качеством как самостоятельной сущностью.

Это обстоятельство как раз и объясняет преимущество Дадона перед сыновьями: добыть “отрицательный” вариант сказочной царицы (т. е. Беду), воплощающий в себе нехватку и/или отрицательные свойства, может только носитель не нормальной мужской силы, а силы кастрированной, т. е. отрицательного качества. Причем успех здесь достигается после того, как оба сына погибают, а отец фактически вычеркивает их из памяти, так что добывание такой “невесты” в противоречии со смыслом брака как такового приобретает отчетливо кастрационный характер по отношению к собственным детям.

Из сделанных выше наблюдений следует, что в произведении существенную роль играет не только кастрационная, но и монструозная (связанная с сочетанием несочетаемых или даже противоположных свойств) деформация сказочного мира: носитель царской власти дал обещание, с ней несовместимое, царь получил от скопца через ЗП мужскую силу вместе с кастрированностью, в положении “искателя” оказался царь, “невесту” добыл отец взрослых сыновей, которые при этом погибли, Дадон влюбился в ШЦ при мертвых сыновьях. (Добавим еще, что народ встретил царя как триумфатора после гибели его сыновей и двух ратей.) С учетом сделанных выше наблюдений, можно говорить о том, что сказочный сюжет в ЗП подвергся не просто кастрационной, но кастрационно-монструозной деформации.

### *Скопец как искатель Беды*

Как мы видели, сюжет произведения является двухчастным и состоит как в *избавлении* от беды обычной (связанной с набегами соседей), так и в *добывании* Беды волшебной. Как же соотносятся между собой первая часть сюжета и вторая? Является ли описанное выше добывание Беды с ее последующим предполагавшимся изъятием у царя выполнением функции помощника, или здесь присутствует нечто иное? На наш взгляд, против первого объяснения свидетельствует ряд обстоятельств. Свою функцию обычного сказочного помощника скопец уже выполнил в первой части, избавив царя от набегов воинственных соседей. Если бы во второй части он вновь проявил себя всего лишь как помощник, пришлось бы видеть в этом не характерный для пушкинских произведений излишний повтор, причем при таком объяснении получилось бы, что

скопец во второй части исправляет последствия собственных неудачных действий, предпринятых в первой части (предложил волшебное средство для избавления от беды, а оно привело к беде новой, и в результате нужно нейтрализовать привезенную Беду, забрав ее у царя). Между тем, в волшебной сказке помощники в принципе не совершают ошибок.

Кроме того, в отличие от обычных волшебных сказок, где волшебное средство дается дарителем в ответ на правильную реакцию героя (а если герой не выдерживает испытания, то средства не получает), здесь такое средство было вручено герою с самого начала, без предварительного испытания, что указывает на наличие некоторой заранее предназначенной герою роли (и уже потом последовала его реакция, доказывающая царскую несостоятельность – т. е. “правильная” с точки зрения КС и тем самым подтверждающая “пригодность” царя). Что же касается самой этой роли, то из сказанного в предыдущем разделе следует, что вручая волшебное средство царю, скопец наделил его *кастрированным* петушком; это качество было абсолютно лишним для решения задачи об устранении опасности от соседей, но зато (как объяснено в том же разделе) совершенно необходимым для овладения Бедой волшебной, причем такое вручение состоялось еще *до* появления признаков этой Беды.

Учитывая все эти обстоятельства, приходим к выводу, что добывание Беды – это самостоятельная цель скопца, который отправляет за ней царя. Персонаж, воплощающий свойство нехватки, пытается добыть отрицательную сущность, которая воплощает сказочные нехватку/вредительство.

М. Безродный (1992: 26) уже высказывал проницательную догадку: “Возможно, звездочета следует рассматривать не как ‘дарителя-помощника’, а как ‘искателя’, отправляющего за ‘искомым’ другого [...]”. Точнее будет сказать, что с учетом двухчастной структуры сюжета скопец необычным для фольклорной сказки образом совмещает обе функции: в первой части (избавление царя от беды обычной) он выступает как помощник, во второй (добывание Беды волшебной) – как искатель. Поскольку, однако, конечная цель состоит в добывании Беды, то основной для скопца следует считать здесь функцию искателя.

Подчеркнем, что наше объяснение является противоположным тому, что дал Левинтон, видящий в просьбе скопца лишь проявление функции помощника (в сказках типа ‘Благодарный мертвец’, на которые ссылается Левинтон, герою после изъятия возвращалась обезвреженная, ранее “опасная” невеста), а в убийстве скопца – сорванный Дадонем благополучный конец сказки. С нашей же точки зрения финальный эпизод, если бы не отказ Дадона, мог бы оказаться наиболее зловещим – в руках злого волшебника оказалась бы универсальная Беда; характер потенциальных последствий, причем для всего царства, виден хотя бы

по истории с взаимным истреблением царевичей и их ратей. Высказанные соображения решают как проблему, указанную выше в первом абзаце раздела “Этический парадокс”, так и парадокс, сформулированный самим персонажем и до сих пор мучающий исследователей, – зачем, действительно, скопцу нужна “девица”.

### *Бедя человеческая и волшебная*

Как мы видели, в произведении действует кастрационный механизм сюжета, имеющий свою внутреннюю логику. Несмотря на то, что КС связан с проявлением волшебства (это относится как к самому волшебному помощнику – скопцу, так и ЗП и ШЦ), как в начальном толчке, так и последующих событиях принципиальную роль сыграло поведение героя. Дадон нарушил как царские, так и человеческие нормы. Во-первых, хотя само по себе обращение героя к волшебному помощнику за помощью в сказке обычно, в данном контексте оно является аномальным: помощник по сути ослабляет или вычитает у царя собственно царские функции; значимость соответствующего контраста между нормой и ее нарушением подчеркнута тем, что царь – номинальное воплощение силы – обратился к скопцу, т. е. носителю слабости (а перед этим царь “от злости” “плакал”, сам проявляя слабость явным образом), и согласился взять такое волшебное средство, которое подменяет самого царя (на это указывает, в частности, и отмеченное Погосян (1992: 102) сходство между ЗП и царским венцом – символом власти). Такая подмена особенно ярко проявила себя в реакции ЗП на неопределенную “другую” беду. Волшебная “гарантия” не давала здесь заранее разъяснений, подразумевая, что в ответ на крик ЗП царь будет действовать вслепую: что считать бедой для царя и царства, царь должен был отдать на откуп волшебному средству. При этом неопределенно-общим условиям в “гарантии”, где речь шла о “другой беде незваной”, соответствует как раз объект (ШЦ), воплощающий и персонифицирующий общий смысл понятия беды.

Обратим внимание: ЗП должен, по условиям, подавать сигнал в том случае, если со стороны ожидается опасность. Но что касается ШЦ, то до криков петушка никакой опасности от нее не было вообще – наоборот, именно из-за сигналов опасности и состоялись походы царевичей, закончившиеся бедой, а также поход Дадона, который привез Беду с собой. Если бы царь не послушался петушка – никакой беды просто бы не произошло. Именно аномально пассивное царское поведение (т. е. царская несостоятельность) привело в конечном итоге к гибели обоих сыновей царя и их ратей, послушно посланных царем в сторону неведомой беды, куда затем отправился и он сам.<sup>9</sup> Тем самым

такое поведение превратило сигнал об опасности в “самосбывающееся” предсказание – т. е. такое, что следование ему и представило ту опасность, о которой оно предупреждало.<sup>10</sup>

Из-за того, что царь принял не просто конкретную помощь от набегов соседей, а механизм, управляющий его поведением по отношению к абстрактной, общей беде как таковой, реальная беда и случилась.

Во-вторых, слову Дадона оказалось свойственна *кастрационность*: давая обещание скопцу исполнить его *любую* волю как *свою*, царь тем самым отчуждает свою собственную волю подобно тому, как у кастрата буквального отчуждается часть его тела. Царь пообещал выполнить *любую* волю мудреца, не думая о потенциальных и непредсказуемых последствиях ни для себя, ни для царства. (Причем, в отличие от ситуации обманного договора, характерной для фольклорных источников, царь дал такое обещание по собственной инициативе.) И такая опасность была совершенно реальной, поскольку, повторим это, в руках скопца, выполни царь свое обещание, могла оказаться волшебная Беда.

Перечисленные выше обстоятельства уже сами по себе означают, что еще до начала событий, в которых участвовал ЗП, поведение царя было таким, что уже *произошла беда*. В ходе же добывания Беды волшебной Дадон ведет себя чудовищным, монструозным образом по отношению к собственным сыновьям-царевичам и погибшим царским ратям (любовь при мертвых)<sup>11</sup> и привозит в свое царство волшебную Беду. *Такой* царь и является для царства самой настоящей бедой, причем она не является внешней бедой “со стороны”, а потому защититься от нее при помощи волшебного средства невозможно. Таким образом, в произведении беда выступает в двух видах – человеческом и волшебном (персонификация в образе ШЦ), причем первое более страшно и служит фактором, позволяющим проявить себя второму. И когда погибает человеческий источник беды – царь, то исчезает и связанная с ним Беда волшебная.

### *Заключение*

Отдельные элементы волшебной сказки оказались интегрированными в ЗП в такое целое, которое существенным и значимым образом противоречит стандартной сказочной структуре. Соответственно, и сказочная “мораль” в пушкинском произведении должна прочитываться с учетом всех этих искажений – иначе это чревато не только возведением чудовищности в ранг сказочной нормы, но и неверным пониманием самой структуры пушкинской сказки. Кроме того, в отличие от сказки фольклорной, в ‘ЗП’ становятся значимыми смысловые связи между дейст-

виями по добыванию искомого и свойствами самого этого искомого, формируя единую мотивную структуру, в которой центральное место занимает лейтмотив беды. Сделав “беду” самостоятельным элементом сказки и ее персонифицировав, Пушкин по существу в данном произведении чисто художественным образом произвел обобщение и переосмысление ключевых особенностей сказочных сюжетов (в первую очередь связанных с ролью начальной недостачи/вредительства и известных теперь в классической формулировке Проппа из его *Морфологии сказки*; 1969), переводя их на новый уровень абстракции.

---

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Автор выражает глубокую благодарность А. М. Железняку за постоянный интерес к работе и многочисленные обсуждения.

- 1 Например, согласно Непомнящему, “мудрец Звездочет” (третье наименование которого Непомнящий вдруг забывает) – это “автор-пророк”, Шамаханская царица – это муза, а петушок – пророческий дар поэта (Непомнящий 1987: 243-244).
- 2 Более того, в обсуждении пушкинского произведения Эткинд доходит до прямых нелепиц. Приведем в качестве примера лишь одну его фразу: “Дадон – подлинный герой Нового времени; но в своем быстром развитии он перерастает и фаустовские рамки” (Эткинд 1995: 8).
- 3 Иначе говоря, тема кастрации проявляется на абстрактном уровне структуры произведения, а не столь наивно-реалистическим образом, как это пытался обосновать А. Эткинд (1995).
- 4 В частности, эта поговорка приведена в сборнике В. И. Даля (раздел “Горе – обида”).
- 5 См. раздел “Горе – обида” сборника В. И. Даля.
- 6 См. разделы “Горе – беда” и “Пора – мера – успех” сборника Даля.
- 7 Подробнее о ШЦ как “искомом” и царе как ее невольном искателе говорится в разделе “Скопец как искатель беды”.
- 8 Если позволить себе несколько рискованную компьютерную аналогию, то здесь работает команда “копировать”, а не “переместить”.
- 9 Но даже и в том, что касается устранения беды обычной (набегов соседей), царствование “на боку” сочетает в себе несовместимые в норме качества – царскую власть и слабость. (Напомним, что добыть волшебную Беду царю удалось как раз благодаря соединению противоположных качеств – мужской силы и кастрированности.)

- <sup>10</sup> Ср. с ситуацией в ‘Песне о вещем Олеге’, где к гибели князя от собственного коня приводит именно то, что князь внял предсказанию ку-десника об этой гибели.
- <sup>11</sup> С другой стороны, радостная встреча царя народом после таких событий показывает, что народ здесь подстать царю.

## ЛИТЕРАТУРА

- Безродный, М.  
1992 ‘Жезлом по лбу’. *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 30, 23-26.
- Вацуро, В. Э.  
1995 “Сказка о золотом петушке” (Опыт анализа сюжетной семантики)’. *Пушкин. Исследования и материалы*, т. 15. Санкт-Петербург.
- Левинтон, Г. А.  
2000 ‘Отрывки из писем, мысли и замечания (Из пушкиноведческих маргиналий)’. *Пушкинские чтения в Тарту*, 2, 146-165.
- Непомнящий, В.  
1987 ‘Добрым молодцам урок’. *Жизнь и судьба*, Москва, 218-260.
- Паперный, В.  
1997 ‘Опыт о “Сказке о золотом петушке” А. С. Пушкина’. *Пушкинский сборник*, вып. 1. Иерусалим, 115-138.
- Погосян, Е.  
1992 ‘К проблеме значения символа “Золотой петушок” в сказке Пушкина’. *В честь 70-летия профессора Ю. М. Лотмана*, Тарту, 98-107.
- Пропп, В. Я.  
1969 *Морфология сказки*. Москва.
- Пушкин, А. С.  
1975 *Собрание сочинений*, т. 3. Москва.
- Шмид, В.  
1998 *Проза как поэзия*. Санкт-Петербург.
- Эткинд, А.  
1995 ‘Молодцы: От Золотого петушка к Серебряному голубю и обратно в Петербург’. *Wiener Slawistischer Almanach*, Bd. 36.  
1996 *Содом и Психея: Очерки интеллектуальной истории Серебряного века*. Москва.
- Якобсон, Р.  
1987 ‘Статуя в поэтической мифологии Пушкина’. *Работы по поэтике*. Москва, 147-180.